

- Mortaja H. *Political Wings in Modern Iran (janāhhā-ye siyāsi dar irān-e emruz)*. Tehran, 1378/1999 (на перс.).
- Shadlu A. *Political Parties and Wings in Modern Iran (ahzāb va janāhhā-ye siyāsi-ye irān-e emruz)*. Tehran'. 1379/2000 (на перс.).
- Wells M. Thermidor in the Islamic Republic of Iran: The Rise of Muhammad Khatami // *British Journal of Middle Eastern Studies*. Vol. 26. No. 1. 1999.
- Wilfried B. *Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy Press, 2000.
- Zarifnia H. 1999. *Analysis of split between political factions in Iran (kālbodšekāfi-ye janāhhā-ye siyāsi-ye irān)*. Tehran'. 1378/1999 (на перс.).

ПО СЛЕДАМ “ТИГРА”: АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

© 2013

Д. В. ИВАНОВ

В контексте оживившихся в последние годы дебатов о необходимости и путях модернизации экономики и инновационном развитии российского общества особое внимание в экспертных сообществах стало уделяться так называемому “азиатскому экономическому чуду”. Высокие темпы экономического роста, быстрое и масштабное обновление технологий и инфраструктуры, отличающие на рубеже XX–XXI в. азиатских “тигров” и “драконов”: Сингапур, Тайвань, Гонконг, Китай и Южную Корею, привлекают внимание многих исследователей, стремящихся раскрыть секрет успешного социально-экономического развития и найти образцы для подражания¹.

Ключевые слова: социальные изменения, модернизация, Южная Корея, виртуализация, глэм-капитализм.

Особенно впечатляющим, даже на фоне остальных “тигров” и “драконов”, выглядит “корейское чудо”. Будучи полвека назад бедной аграрной страной с показателем ВВП на душу населения в 70 дол. (1960), не имея больших запасов минерального сырья и не занимая выгодного положения на торговых путях, Южная Корея достигла уровня душевого ВВП 1.6 тыс. дол. уже в 1980 г. и затем стремительно продвинулась в число двадцати самых развитых стран, достигнув уровня 10 тыс. дол. в 1995 и уровня 20 тыс. дол. в 2005 г. При этом экономика Южной Кореи диверсифицирована, в ее экспорте велика доля высокотехнологичной продукции, а по объему экспорта продукции на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) она входит в пятерку мировых лидеров [Цветкова, 2012]. Страна успешно реализует масштабные проекты по развитию информационно-коммуникационных технологий и находится среди мировых лидеров по количеству Интернет-пользователей (82 на 100 жителей), по уровню доступа к широкополосному Интернету и по интенсивности развития технологий мобильной связи.

Такой феноменальный экономический прогресс и переход Южной Кореи из состояния экономически отсталого аграрного и к тому же разрушенного войной общества через интенсивную и во многом принудительную индустриализацию к развитому постиндустриальному обществу выглядит идеальным примером, подтверждающим положения классической теории модернизации [Rostow, 1960; Levy, 1966]. В 1960-х гг. опиравшееся на военных правительство президента Пак Чон Хи провозгласило программу “модернизации родины” [Хан Ёнью, 2010] и практически навязало обществу новые

¹ См., например: [Александров, 2007; Абдурасулова, 2009; Саблин, 2010].

институты западного типа, которые активизировали экономическую деятельность и вытеснили традиционные социальные структуры и культурные модели.

Однако авторитарная модернизация сопровождалась ростом социального неравенства, распадом традиционных социальных групп, давлением государственной бюрократии на предпринимателей, рабочих, интеллектуалов. Реакцией на болезненные последствия догоняющей модернизации стало возникновение в южнокорейском обществе неотрадиционалистских структур и движений, сформировавших альтернативу тем институтам, которые поддерживались авторитарным государством. На месте распавшихся клановых связей возникли формы солидарности, превращавшие промышленные корпорации, государственные учреждения и университеты в подобие общин, руководство и большинство членов которых объединены происхождением из одного клана, региона, учебного заведения, воинской части и т.п. Эти противоречащие идеальному типу модернизации структуры набора персонала и карьерного продвижения стали характерной чертой современного корейского общества и были названы исследователями “неофамилистскими” (новыми семейственными) [Lew, Chang, 1998; Ha, 2007] или “псевдофамилистскими” [Cha, 2000]. Другой характерной тенденцией стало возникновение социокультурного и политического движения, объединившего интеллектуалов, студенческих, профсоюзных и религиозных активистов, выступавших против “идущего извне” разрушения корейской культуры и угнетения простого народа и обращавшихся в поисках альтернативы прозападным нововведениям к традиционным видам искусства, религиозным верованиям и ритуалам. Это широкое движение, известное как *минджун* (“народ”) и варьировавшееся от этнографических изысканий и фольклорных представлений до забастовок и акций гражданского неповиновения, стало в 1970–1980-х гг. серьезным вызовом модернизационной элите [Wells, 1995; Коо, 1999].

Традиционно ключевым этапом в модернизации южнокорейского общества считается демонтаж режима военной диктатуры в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и последовавшие за ним демократизация политической жизни и либерализация экономики [Kim, 1998; Коо, 1999; Хан Ёнью, 2010]. Однако этот сдвиг от авторитаризма к либерализму стал результатом успешной борьбы тех общественных движений, которые в рамках классических теорий модернизации следовало бы определить как контрмодернизационные и неотрадиционалистские. Это противоречие может быть устранено обращением к концепции множественных современностей (*multiple modernities*) Ш. Айзенштадта [Eisenstadt, 1987; Eisenstadt, 2000]. Концепция множественных современностей позволяет уйти от парадоксов, связанных с бинарной схемой “традиционализм–модернизация”, и рассматривать неофамилизм и движение *минджун* не как проявления социального консерватизма и культурного фундаментализма, но как специфические модели той траектории модернизации, которая характерна для Южной Кореи.

Как жесткие модели классических теорий модернизации, так и более гибкие модели теорий множественных модернизаций малоэффективны при объяснении тенденций конца 1990-х – начала 2000-х гг. В этот период экономические структуры, обеспечившие “корейское чудо”, впали в состояние кризиса, а шедшие через национальные границы интенсивные потоки инвестиций, технологий, людей, информации, товаров существенно изменили южнокорейское общество. Плюрализм моделей потребления и нарастающий космополитизм новых поколений, принимающих экономическое благополучие и гражданские свободы как само собой разумеющуюся данность, не поддерживают функционирование тех социальных институтов и воспроизводство тех культурных практик, которые сложились на этапах индустриализации и демократизации. Открытые, подвижные и сетевые структуры в экономике и обществе лучше описывать и объяснять с использованием новых концептуальных средств, предоставляемых теориями глобализации и виртуализации [Robertson, 1992; Appadurai, 1990; Castells, 1996; Иванов, 2000].

Ограниченность модернизационной модели трансформации общества связана с тем, что в этом случае предполагается однолинейно направленная и непрерывная траектория социальных изменений. Но в Южной Корее в течение последних пятидесяти лет практически каждое десятилетие происходили резкие повороты и возникали принципиально новые тенденции во всех сферах общественной жизни. Поэтому концептуализация и теоретические объяснения социальных изменений в Южной Корее должны базироваться на эмпирически очевидной и теоретически адекватной реконструкции последовательно сменяющихся траекторий изменений в экономике, политике, культуре и социальной структуре.

ПЯТЬ “ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЧУДЕС”

В южнокорейской экономике можно идентифицировать пять последовательных фаз того феноменального роста, который получил название “экономическое чудо”. И каждая из этих пяти фаз характеризуется специфическим технологическим и институциональным режимом.

Главной тенденцией в 1960-х гг. стал рост ориентированных на экспорт отраслей легкой промышленности (текстиль, обувь и т.п.), активно стимулировавшихся и регулировавшихся меркантилистской политикой государства. Именно в этот период в Южной Корее началось так называемое “экономическое чудо”. Средние темпы роста ВВП составили в 1963–1966 гг. 7.8%, а в 1967–1971 – 10.5%; прирост экспорта в 1967–1971 гг. составил 33.7%; ВВП на душу населения вырос с 87 дол. в 1962 г. до 293 в 1972; безработица снизилась с 8.3% в 1963 до 4.5% в 1971 г. [Хан Ёнью, 2010, с. 546; Chang, 2008, p. 654]. Феноменальные показатели экономического роста обуславливались высокой конкурентоспособностью корейских товаров, продвигавшихся на внешние рынки, в первую очередь японский. Конкурентоспособность корейского экспорта опиралась на целенаправленно поддерживавшийся низкий уровень издержек производства. Использование дешевой рабочей силы на создаваемых промышленных предприятиях обеспечивалось установленными государством низкими ценами на главный продукт питания – рис. Политика низких цен на продукцию сельского хозяйства позволяла удерживать низкий уровень оплаты труда на фабриках и одновременно вынуждала массы разорявшихся крестьян уходить из села в город и пополнять ряды неквалифицированной рабочей силы. Ограничению роста потребления внутри страны и повышению конкурентоспособности промышленности на внешних рынках способствовали также осуществленные правительством девальвация национальной валюты – воны – на 50%, введение высоких пошлин и прямых запретов на импорт многих товаров и при этом либерализация импорта полуфабрикатов для развиваемых производств [Коргун, 2007, с. 170]. Вершиной системы мер по развитию экспортных отраслей стало сочетание прямой поддержки и контроля фабрик высшими государственными чиновниками. Правительство перенаправило внешнеэкономическую помощь и кредиты с социальных программ на закупку необходимых для развиваемой легкой промышленности сырья и оборудования. Был создан Комитет экономического планирования, составлявший и доводивший до предприятий пятилетние планы экономического развития. Бизнес-планы владельцев предприятий напрямую диктовались на ежемесячных совещаниях по экспорту, проходивших под председательством президента-диктатора Пак Чон Хи.

В 1970-х гг. режим экономического роста изменился: произошел поворот к развитию тяжелой промышленности (черная металлургия, кораблестроение, нефтехимия, автомобилестроение и т.д.) силами так называемых *чеболов* – вертикально и горизонтально интегрированных и диверсифицированных промышленных групп, находившихся в собственности семейных кланов, управлявшихся на основе родственных и земляческих связей и зависимых от отношений с правящей элитой. На долю полусотни

чеболов приходилось около половины производимого ВВП. При этом 7 из 10 крупнейших чеболов принадлежали выходцам из провинции Ённам, откуда родом были высшие чиновники государства, в том числе и президенты-диктаторы Пак Чон Хи и Чон Ду Хван [Shin, Chin, 1989, p. 10; Cha, 2000, p. 479]. Связи в духе неофамилизма с государственной бюрократией открывали чеболам доступ к льготным кредитам и к прямому субсидированию экспорта, делали их эффективным инструментом проведения экономической и социальной политики и способствовали институционализации коррупции, когда режим благоприятствования чеболам предоставлялся в обмен на лояльность и пожертвования в партийные фонды и на социальные проекты правительства. В 1970-х гг. темпы роста ВВП оставались очень высокими и составляли в среднем 10% в год [Shin, Chin, 1989, p. 7]. Именно в этот период структура южнокорейской экономики приобрела вид, характерный для развитого индустриального общества: доля промышленного производства в национальном продукте превысила долю сельскохозяйственного производства [Кoo, 1991, p. 487].

В 1980-х гг. произошел новый поворот траектории экономического развития, обусловленный быстрым ростом экспортно-ориентированных производств в области высоких технологий (микроэлектроника, бытовая электроника) и формированием системы трудовых отношений на базе альянса национального капитала, государства и официальных профсоюзов. Лояльность к курсу догоняющей модернизации, требовавшей удержания низкой стоимости трудовых ресурсов, достигалась гарантиями пожизненного найма для готового к полной самоотдаче большинства работников и репрессиями против рабочих активистов. Институционализация авторитарно-корпоративной системы трудовых отношений привела к тому, что сформировавшийся в среде чеболов и правительственных учреждений неофамилизм в подборе персонала и карьерном продвижении укоренился во всех отраслях экономики [На, 2007].

Эффективность авторитарно-корпоративной системы трудовых отношений в сдерживании требований повышения зарплат и улучшения условий труда подтверждается статистическими данными о трудовых спорах: в 1986 г. было зафиксировано 276 таких споров, а в 1987 г., когда был свергнут режим военной диктатуры Чон Ду Хвана и восстановлены элементарные гражданские свободы, трудовых споров было уже 3749 [Кoo, 2001, p. 159]. Развитие новых, высокотехнологичных отраслей происходило внутри структур крупнейших промышленных конгломератов, что привело к еще большему усилению их позиций в экономике. Сверхконцентрация и монополизм в южнокорейской экономике достигли огромных масштабов. Доля 10 крупнейших компаний в ВВП за десятилетие выросла с 33% (1979) до 54% (1989) [Хан Ёнью, 2010, с. 555]. Южнокорейская система монополизма и протекционизма допускала конкуренцию на внутреннем рынке только под внешним давлением. Так, торговые споры с США из-за демпинговых цен на корейскую бытовую электронику и таможенных барьеров для американских продуктов привели к ослаблению барьеров для импорта сельскохозяйственной продукции, и показатель самообеспечения зерном снизился с 86% в 1970 до 48.4% в 1985 г. [Хан Ёнью, 2010, с. 555].

В 1990-х гг. поздняя индустриализация в Южной Корее резко сменилась ростом “новой экономики”, движимой высокотехнологичным производством полупроводников, телекоммуникационного оборудования и т.п., а также либерализацией финансовых рынков, рынка труда и глобализацией корейских компаний. Решающим событием этого периода стал кризис 1997 г., который привел к первому после начала индустриализации падению производства, оцениваемому в 5–7% [Shin, Chang, 2005, p. 411; Kim, Park, 2006, p. 437], к банкротству многих крупных корпораций, включая компанию Daewoo, к росту уровня безработицы с 2–2.5% (1994–1997) до 7% (1998) [Kim, Park, 2006, p. 440]. Кризис вынудил от выдвинутых президентом Ким Ён Самом проектов постепенной глобализации прежде “закрытой” корейской экономики [Lee, Lee, 2003] перейти к неолиберальной политике, которую на условиях предоставления кредитов

Международным валютным фондом проводил новый президент Ким Дэ Чжун, осуществивший реструктуризацию экономики. Уменьшилось государственное регулирование, была осуществлена либерализация внешней торговли и финансового рынка, проведена приватизация государственных корпораций, были реформированы чеболы, чья инвестиционная экспансия повлекла гигантскую задолженность по кредитам и спровоцировала финансовый крах в 1997 г. Из 30 крупнейших чеболов исчезли 11, остальные утратили прежнюю “осьминожку” структуру, которая прежде позволяла головной компании полностью контролировать функционирование сети дочерних и аффилированных предприятий [Хан Ёнью, 2010, р. 574; Lee, Lee, 2003; Shin, Chang, 2005; Lie, Park, 2006, р. 57]. Созданию более конкурентных и ориентированных на интересы потребителей рынков способствовал и демонтаж системы протекционизма: если в 1980 г. 30% товарных категорий имели ограничения на импорт, а таможенные тарифы находились на уровне 25%, то в 2000 г. эти показатели составили, соответственно, 0.1% и 8% [Lee, Lee, р. 510].

Демонтаж структур, лежавших в основе “экономического чуда”, последовал за замедлением среднегодовых темпов роста ВВП с 8–10% в 1970–1980-х до 5.5% в 1990-х гг. [Хай Ёнью, 2010, с. 546]. Несмотря на успешную экспансию на внешних рынках, корейские производители высокотехнологичной продукции занимали подчиненное положение в глобальных сетевых структурах – цепях поставок, максимальную выгоду в которых получают обладатели прав на патенты и бренды. Например, в 1989 г. корейские фирмы выплатили 1.2 млрд дол. правообладателям за использование запатентованных технологий [Smith, 1997, р. 750]. В 1990-х гг. государством и частным бизнесом были осуществлены масштабные инвестиции в НИОКР, чтобы перейти от так называемого “обратного инжиниринга”, когда разбирались и детально копировались изделия мировых технологических лидеров, к созданию собственных инновационных технологий. С этой же целью были созданы сети, объединившие исследовательские центры в Корею и за рубежом под эгидой таких компаний, как Samsung [Smith, 1997]. Формирование структур “новой экономики” привело к реструктуризации рынка труда. Рост зарплат, улучшение условий труда на новых производствах по стандартам транснациональных компаний сопровождалось снижением конфликтности трудовых отношений и снижением членства в профсоюзах [Коо, 1991; Коо, 2001, р. 159]. Одновременно рабочие места в традиционном индустриальном секторе, утратившем привлекательность для южнокорейских работников, стали заполняться гастарбайтерами, число которых выросло с 50 тыс. (1991) до 250 тыс. (1997) [Lee, Lee, 2003, р. 511].

В 2000-х гг. в Южной Корею сформировалось постиндустриальное общество потребления, режим экономического роста которого кардинально отличается от режима догоняющей модернизации. С достижением в середине десятилетия уровня ВВП свыше 20 тыс. дол. на душу населения [Lie, Park, 2006], переходом с шестидневной на пятидневную рабочую неделю в 2004 г. и ростом потребительских кредитов [Shin, Chang, 2005, р. 418] южнокорейская экономика утратила ключевой фактор развития модернизационного типа – низкие издержки на человеческий капитал в трудоемких производствах. А возросшая конкуренция со стороны Китая создала угрозу потери лидирующих позиций в экспорте традиционной промышленной продукции [Cha, 2005; Lie, Park, 2006].

Конкурентные преимущества южнокорейской экономики теперь связаны с экспортом культуры, ярким примером чего стал феномен *Ханрыю* (“корейской волны”) – распространения в азиатских странах коммерческой продукции корейской поп-культуры: кинофильмов, “мыльных опер”, музыкального видео, анимации, компьютерных игр и т.д. [Lie, Park, 2006]. Внутреннее потребление символической или виртуальной продукции также способствует экономическому росту, условием для которого становится реализация масштабных проектов опережающего развития цифровой инфраструктуры коммуникаций и коммерции [Lee, Park, 2010, р. 30]. Реконфигурация экономичес-

ких структур продолжается под воздействием пересекающих границы национальной экономики материальных и символических потоков двух типов. Культурный экспорт дополняется исходящими потоками технологий, организационных решений, брендов, например, при создании сборочных производств в Азии или Восточной Европе. При этом происходит и отток культурного капитала: число эмигрирующих высококвалифицированных работников, например компьютерщиков, финансистов, ученых, удвоилось в нулевых по сравнению с серединой 1990-х гг. [Kim, Park, 2006, p. 453]. Входящие потоки образуются импортом потребительских товаров престижных японских, европейских и американских брендов, а также притоком дешевой рабочей силы, в основном для производства аналогичных потребительских товаров на предприятиях легкой промышленности и для работы на вредных и опасных производствах в тяжелой промышленности. К 2005 г. в Южной Корее трудилось около 350 тыс. рабочих из Китая, Вьетнама, Филиппин, Бангладеш [Kim, Park, 2006, p. 445].

ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТАМОРФОЗ

Фазы и смены траекторий, аналогичные изменениям в технологическом и институциональном режиме экономического роста, обнаруживаются и в политической жизни Южной Кореи.

Основная тенденция в южнокорейской политике 1960-х гг. – консолидация и легитимация авторитарного государства, обеспечившего возможность навязать эффективные экономические реформы слабым и пассивным социальным группам и местным общинам. После спровоцированного фальсификацией результатов выборов студенческого восстания 19 апреля 1960 г. и вынужденной отставки первого президента Республики Корея Ли Сын Мана ненадолго установилась так называемая Вторая республика, но политическая и экономическая нестабильность стала благоприятной основой для военного переворота, который в 1961 г. был организован и возглавлен генералом Пак Чон Хи. Был свергнут президент Юн Бо Сон, распущены парламент и все политические партии, установлена военная диктатура, но через год Пак Чон Хи ввел и утвердил на национальном референдуме новую конституцию и перешел к формально гражданскому, а на практике – опиравшемуся на силовые структуры режиму управляемой демократии – Третьей республике [Kim, Koh, 1972; Коо, 1999, p. 57]. Были созданы правящая Демократическо-республиканская партия и оппозиционная Новая демократическая партия, которые выдвигали своих кандидатов на регулярно проводившихся, но неизменно завершавшихся в пользу правящего режима парламентских и президентских выборах. Характерными чертами Третьей республики стали манипуляции на выборах; неофамилистская лояльность бюрократии, рекрутировавшейся преимущественно из региона Ённам, откуда родом был Пак Чон Хи; режим напряжения для чиновников и бизнесменов, вовлеченных в выполнение планов экономического развития; коррупционные механизмы размещения заказов и реализации проектов индустриализации [Kim, Koh, 1972; На, 2007].

В 1970-х гг. произошел резкий поворот к установлению диктаторского режима *Юсин* (“обновление, оживление”), покончившего с управляемой демократией начального периода правления Пак Чон Хи и сформировавшего экспансивное государство, вторгавшееся с модернизационными проектами во все сегменты общества и создававшее зависимые структуры клиентелы вместо отсутствовавшего гражданского общества. Поправки, внесенные в конституцию в 1969 г., позволили президенту Пак Чон Хи переизбраться в 1971 г. на третий срок, после чего он фактически совершил переворот, распустив парламент и все партии, введя конституцию 1972 г. и сформировав автократический режим так называемой Четвертой республики. По новой конституции выборы президента осуществлялись членами нового парламента – “Национального совета по объединению”, треть депутатов парламента и судьи всех уровней –

от муниципального до национального – назначались президентом. Правящий режим терпел лишь лояльную квазиопозицию, жестоко подавляя серьезных противников, как это было, например, в случае похищения и ареста в 1973 г. Ким Дэ Чжун, бывшего оппозиционным кандидатом на президентских выборах 1971 г. [Shorrok, 1986]. Политические партии функционировали лишь как предвыборные коалиции и неофамилистские сети поддержки своих лидеров, не становясь постоянными структурами с определенной идеологией. По оценкам экспертов в период *Юсин* в Южной Корее насчитывалось до 160 таких квазипартий [Steinberg, Shin, 2006, p. 518]. В публичной сфере была осуществлена концентрация и централизация, подобная сверхконцентрации корейских бизнес-структур. Общенациональное распространение имели лишь три газеты, фактически подконтрольные правительству, создано официальное профсоюзное объединение, организованы зависимые от государственной бюрократии полудобровольные организации социальной помощи – “корпорации общественного интереса” и “движение за новую общину”, проводившее политику модернизации муниципалитетов и деревень [Kim, 2008].

Сталкиваясь со спорадическими протестами рабочих, студентов и религиозных активистов, авторитарный режим Пак Чон Хи усиливал репрессии, вводя специальные декреты – чрезвычайные законы в обход парламента, которыми запрещались любая критика конституции *Юсин*, антиправительственные петиции и студенческие организации. Судя по нисходящей динамике числа протестных акций [Chang, 2008, p. 655], период декретов (1974–1979) стал временем наибольшей эффективности государства в предотвращении открытого недовольства. Однако именно в этот период движение *минджун* консолидировалось и превратилось из популистской идеологии интеллектуалов, представлявших простой народ жертвой государственной и корпоративной эксплуатации и носителем подлинной корейской культуры, в реального субъекта организации актов гражданского сопротивления подпольных студенческих и профсоюзных групп, религиозных и местных общин [Wells, 1995; Koo, 1999, p. 58–60; Chang, 2008].

На протяжении 1980-х гг. произошел поворот от ужесточения авторитарного режима к кризису диктатуры, утратившей легитимность и не совладавшей с усилением оппозиционных движений. Конец режима *Юсин* наступил 26 октября 1979 г., когда в момент бурных протестов и столкновений рабочих и оппозиционных активистов с полицией президент Пак Чон Хи был убит шефом разведывательного управления. В ситуации раскола правящей элиты генерал Чон Ду Хван в декабре 1979 г. совершил государственный переворот и использовал войска для подавления сопротивления, пиком которого стало восстание в мае 1980 г. в городе Кванджу, где по разным оценкам было убито от 200 до 3 тыс. жителей [Shorrok, 1986, p. 1203; Choi, 1991, p. 176]. За событиями в Кванджу последовало ужесточение диктатуры: были арестованы и уволены тысячи инакомыслящих журналистов, преподавателей, профсоюзных активистов, введен запрет профсоюзной деятельности, установлен контроль над прессой. Из членов городских банд сформированы спецподразделения полиции для борьбы с демонстрантами, вновь подвергнуты аресту лидеры оппозиционных партий, а Ким Дэ Чжуну даже был вынесен смертный приговор, позже отмененный под давлением США. Введя новую конституцию, став президентом и сформировав новый парламент, где созданная им Демократическая партия справедливости заняла место правящей, лидер военной хунты Чон Ду Хван создал режим, получивший название Пятой республики.

Установление новой диктатуры повлекло за собой радикализацию студенческого движения, перешедшего к антиправительственной пропаганде среди рабочих, к организации бунтов в университетах и захватов офисов корпораций и иностранных представительств [Choi, 1991]. Члены некоторых студенческих групп даже перешли к требованиям объединения с Северной Кореей на базе господствующей там ультралево-

идеологии *чучхе*² и к акциям самосожжения. Несмотря на репрессии против активистов националистического движения *минджун* и лидеров продемократической оппозиции, антидиктаторские силы консолидировались, создав в 1984 г. Объединенное народное движение за демократию и объединение страны – коалицию 23 организаций, представлявших запрещенные профсоюзы, интеллектуалов, крестьянские группы, диссидентов из католических и протестантских общин. Наиболее видные оппозиционные политики Ким Дэ Чжун и Ким Ён Сам возглавили Новую демократическую партию и добились поддержки 40% избирателей на парламентских выборах 1985 г. В 1986 г. был создан “Национальный альянс за конституционную реформу” – коалиция пяти оппозиционных организаций [Shorrok, 1986, p. 1206, 1210]. Ставшее в 1980-х гг. более националистическим и менее интеллектуалистским Движение за демократию получило поддержку средних слоев, которые за годы правления Пак Чон Хи и Чон Ду Хвана приобрели материальную независимость и относительно высокий уровень образования и начали уставать от режима, требовавшего самоограничения, дисциплины и лояльности во имя процветания государства.

Подъем протестного движения студентов в июне 1987 г. был поддержан массовыми уличными шествиями и забастовками. Под двойным давлением народного движения и правительства США Чон Ду Хван согласился на конституционную реформу [Kim, 1998; Koo, 1999; Shin, 2000]. Были восстановлены прямые выборы президента, срок его пребывания на посту сокращен с 7 до 5 лет, была гарантирована многопартийность. Так возникла Шестая республика, президентом которой в 1987 г. был избран Ро Дэ У³ (бывший генерал и соратник Чон Ду Хвана). Новый президент начал либерализацию политической жизни, а для стабилизации государственных институтов в переходный период санкционировал создание новой партии власти – Демократической либеральной партии, объединившей проправительственную Демократическую партию справедливости и оппозиционные Новую демократическую партию и Демократическую партию объединения страны, только что основанную Ким Ён Самом [Steinberg, Shin, 2006]. Возникшая в результате этого объединения “мега-партия” контролировала две трети мест в парламенте и была способна поддерживать умеренный темп расширения гражданских свобод.

После демократического прорыва конца 1980-х произошла смена траектории политических изменений. Демократизация в течение 1990-х гг. стала результатом компромисса между старой элитой и контрэлитой и потому была постепенной, умеренной и сопровождалась сохранением унаследованной от авторитарных режимов политической культуры, отличительными чертами которой являются временные партии – неофашистские коалиции в поддержку харизматических лидеров, коррупционные связи политиков с бизнес-группами, доминирование консервативных СМИ. Всплеск гражданской активности привел к сокращению числа политических субъектов.

В первый год либерализации, после декларации о конституционной реформе 29 июня 1987 г., гражданская активность была очень высокой: сразу за снятием запрета на создание профсоюзов возникли 4 тыс. организаций [Koo, 1999]. В президентских выборах 1987 г. участвовали 89% избирателей, в парламентских 1988 г. – 76. 1990-е гг. характеризуются спадом активности: явка на президентских выборах составила 82% (1992) и 81% (1997), на парламентских – 72% (1992) и 65% (1996) [Kim, 2005, p. 199]. Последовательно становившиеся президентами бывшие диссиденты Ким Ён Сам (1993–1998) и Ким Дэ Чжун (1998–2003) после ликвидации военной диктатуры стремились к сохранению традиционных политических институтов: продолжали практику создания партий как временных предвыборных проектов в личных интересах полити-

² Самодостаточность, опора на собственные силы.

³ Поскольку написание корейских имен в русском языке не приведено к единому стандарту, в литературе можно встретить разные варианты этого имени, включая Ро Тае Ву и Но Тхэу.

ческих лидеров, практиковали коррупционные схемы финансирования избирательных кампаний, использовали свойственные прежним лидерам стиль личного принятия всех решений и риторику мобилизации народа для решения национальных задач (как, например, выдвигание доктрин глобализации корейской экономики и культуры). И хотя Ким Ён Сам санкционировал арест в 1993 г. и осуждение бывших лидеров военной диктатуры Чон Ду Хвана и Ро Дэ У, затем он смягчил им наказание, а Ким Дэ Чжун их амнистировал.

В нулевые годы наметилась тенденция либерализации консервативной политической культуры и формирования новой политической повестки, включавшей экологическую проблематику, выравнивание развития регионов, поиск новой основы для национальной идентичности, культурные права меньшинств и т.п. Так, например, количество экологических организаций в Южной Корее в начале нового века удвоилось. В 1997 г. их насчитывалось 89, а в 2001 – 175; количество упоминающих экологические движения статей в национальных газетах выросло почти в двадцать раз: в 1990 г. их было 60, в 2000 г. – свыше 1 тыс. [Kern, 2010, p. 878–879]. Такой поворот в направленности общественных дебатов и движений связан с приходом на позиции лидеров политических активистов нового поколения, сила которого проявилась в избирательной кампании президента Но Му Хёна⁴ (2003–2008) и в ходе выборов в парламент в 2004 г., когда около половины мандатов получили депутаты моложе 50 лет [Lie, Park, 2006, p. 60–61; Kern, 2010]. Пришедшая к власти Открытая партия, более известная как партия *Ури*, стремилась реализовать антиэлитистские проекты своего лидера Но Му Хёна, инициировавшего отмену введенного после Корейской войны закона о национальной безопасности, а также расследование связей представителей старого истеблишмента с японской колониальной администрацией, ограничение влияния трех главных консервативных газет, демократизацию частных школ, перевод столицы из Сеула и т.д. Инициативы нового президента довели межпоколенческие различия в отношении к ключевым для южнокорейской политической системы проблемам до степени “культурной войны” и спровоцировали кампанию по вынесению ему импичмента, которая не привела к отстранению президента, но способствовала активизации и консолидации неоконсервативной оппозиции [Cha, 2005; Lie, Park, 2006].

Сдвиги в политической культуре к ценностям и практикам новых поколений особенно заметны в контрасте между продолжающимся снижением традиционного политического участия и резким подъемом новых форм политической активности. В президентских выборах приняли участие 73% (2002) и 63% (2007), в парламентских – около 60% (2000 и 2004) [Kim, 2005, p. 199; Хан Ёнъу, 2010]. При этом молодые активисты создают сетевые структуры на базе Интернета, такие как движение молодых либералов *Носамо*, названное в честь кандидата на выборах 2002 г. Но Му Хёна [Lie, Park, 2006; Lee, Park, 2010], или Креативная партия бывшего предпринимателя Мун Кук Хёна, занявшего четвертое место на президентских выборах 2007 г. Во второй половине десятилетия риторику креативности и практику использования новых информационно-коммуникационных технологий переняли все ведущие политические партии, включая неоконсервативную Великую национальную партию, чей кандидат Ли Мён Бак стал победителем на президентских выборах в 2007 г.

ПЯТЬ “КУЛЬТУРНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ”

Общая трансформация культуры южнокорейского общества прошла через фазы и повороты синхронно с экономическими и политическими сдвигами, произошедшими за последние полстолетия.

В 1960-х гг. происходило внедрение модернистских культурных моделей в традиционалистскую культурную среду, дезинтегрированную японским колониальным

⁴ В некоторых источниках его имя пишут, как Ро Му Хён.

режимом и Корейской войной. Провозглашенная президентом Пак Чон Хи доктрина “модернизации родины” воплощалась в сфере культуры в форме насаждения сконструированных по западным образцам заменителей традиционных обрядов и церемоний, которые были объявлены тормозящими развитие атрибутами отсталости. Важным инструментом культурной политики авторитарной модернизации стал законодательно введенный в 1969 г. кодекс семейных ритуалов, который регламентировал такие ключевые в жизни корейцев события, как свадьба, похороны, почитание предков, празднование 60-летнего юбилея [König, 2000, p. 558–559]. Другой составляющей вестернизации южнокорейской культуры в тот период стало массовое обращение в протестантизм, к которому политическая и бизнес-элита относились благосклонно, воспринимая нетрадиционную для страны религию как носителя рациональных и прогрессивных ценностей, моделей, институтов.

В 1970-х гг. в южнокорейской культуре возникла тенденция, прервавшая поступательное движение авторитарной модернизации. Началось нарастание напряжения между нормативным порядком, поддерживавшимся модернистской идеологией государства, и неотрадиционализмом, возникавшим из двух источников: повседневных практик большинства корейцев, соединявших элементы урбанизированного труда и быта с элементами конфуцианских церемоний и шаманистских обрядов, и идеологических конструктов активистов движения *минджун*. Режим Пак Чон Хи продолжал культивировать лозунги “прогресса и просвещения”, и для более эффективного внедрения официальной идеологии в школах были введены в 1972 г. обязательные уроки “гражданской морали”. Одновременно усиливалось давление на те культурные модели, которые считались архаичными и реакционными. Например, правительством осуществлялась модернизационная по своей направленности и репрессивная по методам кампания “движение за новую деревню”, в ходе которой подвергались арестам приверженцы традиционных религиозных культов.

В ответ на проводимую элитой агрессивную политику модернизации оппозиционно настроенные интеллектуалы начали культивировать обращение к традиционным ритуалам, музыке, танцам, театрализованным представлениям, лубочным листовкам и т.п. С помощью традиционных жанров народной культуры развивалась одна сквозная тема – борьба простых корейцев против несправедливости и иностранных влияний. Это социокультурное движение возникло первоначально в регионе Чолла, систематически ущемлявшемся правящей элитой, большинство которой составляли выходцы из региона Ённам, куда и направлялась львиная доля инвестиций. Чувство социальной ущемленности как лейтмотив нового движения сделало его популярным по всей стране, и это неотрадиционалистское и явно оппозиционное по отношению к авторитарному режиму движение получило название “народного” (*минджун*) [Shorrok, 1986, p. 1207]. Лидеры движения *минджун* в противовес официальному видению Кореи как страны, отягощенной историческим грузом бедности и отсталости, предприняли реконструкцию корейской истории как непрерывной борьбы народа против угнетения, главными вехами которой были восстание 1894 г., антияпонские демонстрации 1919 г., движение против оккупации в 1945–1946 гг., движение против диктатуры в 1979–1980 гг.

Диссидентское движение *минджун* подвергалось давлению со стороны властей, но именно оно выработало те образы, символику и риторику, которые стали основой для современной южнокорейской культурной идентичности. В 1980-х гг. из элементов, созданных противоборствовавшими силами – модернизаторской элитой и неотрадиционалистами – сформировалась относительно однородная национальная культура, соединившая экономический национализм с неоконфуцианством и неофамилизмом. В официальном описании развития страны произошел поворот от понимания культуры в терминах противопоставления “старая/новая” – к новому видению на базе различия “западная/собственная”. В моду вошла концепция национальной культуры как состоящей из западного “железа” (hardware) и конфуцианского “программного обес-

печения” (software) [Koh, 1996]. На основе этой новой доктрины стала активно проводиться политика сохранения и продвижения культурного наследия [König, 2000, p. 560], которое в перспективе перехода к постиндустриализму стало восприниматься элитой не как помеха технологическому и экономическому развитию, но как его ресурс.

Неоконфуцианство как этическая доктрина, акцентирующая ценность иерархии, ритуала, интеллектуальных занятий, самосовершенствования только во имя принадлежности к общности [Cha, 2000], не способствовало в начальный период индустриализации привлечению членов традиционных общин и быстрому превращению их в эффективных работников для создававшихся фабрик. Однако те же неоконфуцианские принципы оказались в полном соответствии с правилами взаимодействия в офисах крупных корпораций и государственных учреждений, в аудиториях школ и университетов. Поэтому в характерном для 1980-х гг. общем процессе институционализации различных религий в Южной Корее, когда возникло множество религиозных организаций с разнообразными социальными функциями, создание неоконфуцианских академий получило официальную поддержку государства. Неофамилизм как практика подбора работников и их карьерного продвижения на основе родственных, дружеских и земляческих связей [Lew, Chang, 1998; Ha, 2007] избегал формирования социальных групп и социальной мобильности по нормам, характерным для массового общества индустриального периода развития. Однако неофамилизм стал конструктивным с переходом от массовых организаций к сетевым структурам постиндустриального общества, поскольку способствует созданию и поддержанию социальных сетей.

Ключевую роль в формировании южнокорейской национально-культурной идентичности сыграло крупнейшее для страны международное событие – Олимпиада в Сеуле (1988), при подготовке к которой огромные материальные и человеческие ресурсы были направлены на создание и реконструкцию множества культурных объектов, на которых развернулась презентация южнокорейской культуры.

В 1990-х гг. в Южной Корее на смену идеи консолидации национальной культуры пришла постмодернистская культура с характерными для нее потреблением, космополитизмом и эклектичностью. Доминировавшие в массовом сознании в предшествовавшие десятилетия ценностные ориентации: экономическое благополучие и общественная безопасность, начали уступать свое место в ценностной иерархии постматериализму, сконцентрированному на правах человека, самовыражении, сохранении окружающей среды [Kern, 2010]. Снятие ограничений на потребительский импорт привело к росту американизации южнокорейского рынка массовой культуры, а после снятия действовавших полвека идеологически мотивированных ограничений на ввоз японских книг, журналов, кинофильмов, телесериалов и т.п. возникла еще и японизация. Доминирование иностранных образцов и образов в южнокорейской массовой культуре и готовность большинства потребителей подчиняться диктату моды ряд экспертов интерпретировали в постмодернистском ключе как освоение новых инструментов для сохраняющих свой неоконфуцианский дух практик [Kim, 2003].

Еще одним примером парадоксального смешения ультрасовременности и традиционности в южнокорейской культуре может служить одномоментный массовый отъезд жителей городов в деревни в праздничные дни. Урбанизация произошла стремительно в течение жизни всего двух поколений. Доля городского населения достигла 50% в 1976 г., через десять лет составила 75%, а к середине 1990-х гг. – 85%. При таких темпах перемещения населения в города южнокорейские горожане в массе своей остались селянами по многим привычкам, их привязанность к сельским корням проявляется в ритуальных поездках на родину к могилам предков [Cha, 2000, p. 476–477].

В первое десятилетие XXI в. произошел новый поворот в трансформации южнокорейской культуры: из культуры-реципиента, поддерживавшей баланс между модернизацией и традиционализмом, она превращается в культуру генерирования глобальных потоков (материальных и символических) и сетей. Для нового поколения корейцев

высокий уровень жизни и сильная национальная идентичность – само собой разумеющаяся данность, а на повестке дня – продвинутость как новая ценностная ориентация. В труде эта ориентация приводит к тому, что культура индивидуальных достижений и карьеры потеснила культуру лояльности и пожизненного найма. В потреблении ориентация на продвинутость проявляется в повальном увлечении престижными глобальными брендами и изменении имиджа с помощью интенсивных косметических процедур, в гаджетомании – заикливании на мобильных устройствах. Стиль жизни – от покупок до просмотра теленовостей и общения с близкими, в участии в виртуальных сообществах и в культивировании компьютерных игр – стал ее смыслом. Однако самым ярким выражением нового состояния культуры и ценностной ориентации на продвинутость стала так называемая “корейская волна” (*Ханрюю*) – глобальное распространение фильмов, телесериалов, поп-музыки, анимации, компьютерных игр, образцов молодежной моды, созданных в Южной Корее [Lie, Park, 2006].

ПЯТЬ “РЕИНКАРНАЦИЙ” СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

Социальная структура Южной Кореи за последние полстолетия так же, как экономика, политика, культура, прошла через пять фаз трансформации.

В 1960-х гг. главной тенденцией был распад традиционного аграрного общества, когда в результате интенсивной индустриализации и урбанизации первичный сектор (сельское хозяйство, рыболовство и т.п.) утратил доминирующее положение в структуре занятости, а расширенная семья была вытеснена нуклеарной. Если в 1960 г. в первичном секторе экономики были заняты 79.5% работников, а во вторичном (горнорудной и обрабатывающей промышленности) только 5.4%, то в 1970 г., соответственно, 50.4% и 14.3%. В традиционном обществе расширенная семья, выполнявшая функции хозяйственной единицы, была и группой родственников и трудовым коллективом. Поэтому еще в конце 1950-х гг. 30.9% рабочей силы составляли неоплачиваемые работники – младшие члены таких традиционных семей, тогда как доля наемных работников составляла лишь 21.6%. В 1970 г. доли неоплачиваемых семейных работников и наемных работников были уже, соответственно 26.2% и 30% [Hong, 2003, p. 41]. Ключевую роль в трансформации социальной структуры в тот период сыграла миграция огромного числа молодых мужчин и женщин из деревень в города, где они работали на текстильных и обувных фабриках и в отрыве от родительских семей создавали в урбанистической среде нуклеарные семьи.

В 1970-х гг. главной тенденцией стало резкое социальное расслоение в условиях формирования индустриального общества и сложилась стратификационная пирамида, в которой в нижнем слое оказались 70–75% населения [Хан Ёнью, 2010, p. 548; Hong, 2003, p. 45]. Бедняками, составлявшими в тот период подавляющее большинство в южнокорейском обществе, становились сельские жители, чья продукция фактически экспроприировалась из-за низких цен, и низкооплачиваемые рабочие в урбанизированных промышленных зонах, мирившиеся с тяжелыми условиями труда и быта. В 1970-х гг. от 20 до 30% городского населения составляли мигранты из деревень, самовольно селившиеся в самодельных лачугах на окраинах Сеула и других промышленных центров, где возникали огромные кварталы убогих жилищ без элементарных удобств [Ha, 2004, p. 142].

Ослабление и даже разрушение за столь короткое время многих социальных связей, характерных для традиционного общества, было компенсировано развитием отношений неофамализма, реструктурировавшего “импортированные” организационные структуры в специфически корейские формы поддержания социальной солидарности и социальной мобильности. Сетевая структура социальной мобильности, осуществлявшейся на основе родственных, земляческих связей, знакомства по школе, университету или службе в армии, стала отличительной чертой догоняющей модернизации.

ции по-корейски [На, 2007]. О роли неофамилистских отношений в структурировании южнокорейского общества можно судить по следующим данным: 21% высших управленческих позиций в чеболах занимали родственники владельцев, из 25 крупнейших корпораций 11 принадлежали выходцам из провинции Ённам, 33% топ-менеджеров в этих 25 компаниях были из того же региона [Shin, Chin, 1989].

В 1980-х г. южнокорейское общество трансформировалось в урбанизированное и стратифицированное общество, в структуре которого сформировался относительно многочисленный средний слой и возникли гражданские объединения (профессиональные, культурные, религиозные и т.д.). Численность среднего слоя в тот период можно оценить приблизительно в 35–40% населения. Рост среднего слоя происходил главным образом за счет увеличения в городах числа владельцев малого бизнеса и квалифицированных специалистов из категории “белых воротничков” (менеджеров и профессионалов). Если в 1970 г. квалифицированные “белые воротнички” и владельцы малого бизнеса составляли в сумме 13% (6%+7%) рабочей силы, то в 1985 г. их было уже 23% (11%+12%) [Кoo, 1991, р. 485, 488]. Если к числу профессионалов и менеджеров добавить низкоквалифицированных “белых воротничков” – офисных работников, зарплата, условия труда и быта которых заметно поднялись в тот период над чертой бедности, то эта составляющая рабочей силы составила в середине 1980-х гг. порядка 16–18% [Кoo, 1991; Hong, 2003]. Ядро возникшего в условиях развитого индустриального общества среднего слоя образовали беловоротничковые работники чеболов [На, 2007], где создавалось большинство рабочих мест соответствующего уровня, осуществлялись подбор персонала и карьерное продвижение в духе неофамилизма, культивировался стандартный образ жизни корпоративных работников.

В 1990-х гг. произошел сдвиг стратификационной системы от пирамидальной к колоколоподобной с доминирующим средним слоем, большинство в котором принадлежало уже не “старому среднему классу”, то есть предпринимателям, а “новому классу” – профессионалам и менеджерам. С переходом к постиндустриальному типу развития в Южной Корее впервые за полстолетия произошло не возрастание, а уменьшение доли занятых в промышленности с 27.6% занятых в экономике в 1990 г. до 20.6% в 2000 г. [Hong, 2003, р. 41]. При этом после ослабления контроля авторитарного государства над экономикой произошел резкий подъем зарплат. В 1988 г. оплата труда выросла у “синих воротничков” (работников физического труда) на 22.6%, у “белых воротничков” на 11.9%, в 1989 г. прирост зарплат составил, соответственно, 18.8% и 15.3% [Кoo, 1991, р. 497]. Повышение зарплат и улучшение условий труда привели к снижению активности рабочего движения: в начале 1990-х гг. произошло падение членства в профсоюзах в два раза [Кoo, 2001, р. 159]. Относительно высокооплачиваемые наемные работники невысокой квалификации достигли уровня жизни, характерного для среднего слоя. В совокупности средние слои составили около 50% населения, а новый средний слой, образуемый семьями менеджеров и профессионалов, – 25% [Hong, 2003; Chung, 2005].

Рост на протяжении большей части десятилетия уровня жизни не сопровождался адекватным повышением качества жизни. Расслоение южнокорейского общества по условиям жизни проявлялось в нарастании жилищной проблемы. Несмотря на развернутую еще в правление Чон Ду Хвана программу массового строительства (с 1983 г.), к 2000 г. 23% домохозяйств продолжали существовать в условиях тесноты и без необходимого комфорта, оставались поселения из тысяч “виниловых хижин” чернорабочих на окраинах индустриальных центров [На, 2004, р. 141–142].

После азиатского финансового кризиса 1997 г. произошел поворот к большей гибкости структуры занятости, приведший в 2000-х гг. к большей социальной поляризации: росту верхнего сегмента среднего слоя, “выпадению” из среднего слоя массы людей, чьи доходы сократились из-за снижения зарплат, перехода к неполной занятости, девальвации национальной валюты; увеличению нижнего слоя, пополнявшегося за

счет притока иностранных рабочих. Система пожизненного найма, сформировавшаяся в период авторитарной модернизации, была ослаблена в результате диктуемых Международным валютным фондом неолиберальных экономических реформ. Если в 1995 г. на условиях полной занятости трудились 58% работников, то в 2000 г. уже 48% [Lee, Lee, 2003, p. 511; Kim, Park, 2006, p. 443]. Разрыв в доходах между наиболее обеспеченными 20% населения и наиболее бедными 20% вырос с 4 до 5 раз [Kim, Park, 2006]. При “размывании” основного массива среднего слоя и появлении впервые с 1970-х гг. огромного количества людей, имевших постоянную работу, но находившихся ниже черты бедности, произошел рост с 2% в начале 1990-х до 5% в нулевых [Hong, 2003, p. 45] сверхнового среднего слоя, пополнявшегося топ-менеджерами и высокооплачиваемыми специалистами из постиндустриальных сегментов экономики.

Важным фактором трансформации социальной структуры в 2000-х гг. стал демографический переход: упала рождаемость, началось старение населения, большое число женщин фертильного возраста переориентировались в своих жизненных стратегиях с брака и деторождения на получение образования и профессиональную карьеру [Lie, Park, 2006; Хан Ёнью, 2010]. Демографические сдвиги в условиях перехода к постиндустриальному обществу стали сказываться на изменении гендерной структуры занятости. В 2000-х гг. произошла дефеминизация промышленных производств, где еще 30–40 лет назад эксплуатация дешевого женского труда была основным источником прибыли, и началась феминизация офисного труда, приведшая к тому, что более половины южнокорейских клерков – женщины [Hong, 2003, p. 43–44]. Демографический переход и перемещение работников на позиции в постиндустриальных сегментах экономики создают дефицит рабочей силы в сохраняющихся промышленных производствах, который компенсируется притоком мигрантов, интенсивно эксплуатируемых, дискриминируемых, но постепенно встраивающихся в систему принимающего общества.

ПУТЬ “ТИГРА” ОТ ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ К ВИРТУАЛИЗАЦИИ И ГЛЭМ-КАПИТАЛИЗМУ

Проделанный анализ траекторий изменений в экономике, политике, культуре, социальной структуре позволяет увидеть, что классические теории модернизации применимы только к периоду быстрого экономического подъема, так называемого “отрыва” (take-off) [Rostow, 1960], произошедшего в 1960-х гг. При интерпретации социальных изменений, пришедшихся на 1970-е и 1980-е гг., когда индустриальная рыночная экономика и политическая демократия были соединены с неофамилизмом и неоконфуцианством, актуальна концепция множественности моделей модернизации, позволяющая выделить специфически южнокорейский тип современного общества. Процессы изменений, характерные для рубежа XX–XXI вв., уже не вписываются в рамки разнообразных, но все же национальных моделей развития. Когда множество транснациональных моделей открытого, плюралистического, сетевого общества было заимствовано Южной Кореей извне и в то же время многие такие модели были созданы в Южной Корее и заимствованы другими странами, более убедительную модель изменений позволяет построить концепция глобализации.

Однако некоторые тенденции в выделенных изменениях экономики, политики, культуры, социальной структуры на последних фазах правильнее объяснять не тем, что национальные структуры и взаимодействия сменяются транснациональными, или локальные – глобальными, а тем, что реальные структуры и действия замещаются виртуальными.

Виртуализация социальных институтов происходит, когда создание образов и поддержание электронных коммуникаций становятся важнее материального производства и взаимодействий в режиме “лицом к лицу” [Иванов, 2000]. Интенсивные товарные

и финансовые потоки формируют постиндустриальные рынки, на которых обращаются не реальные вещи, а образы – имиджи и бренды. Виртуализация товаров, организационных структур и финансовых операций становится рациональной стратегией для участников рыночной конкуренции. В этих условиях виртуальная реальность служит моделью для новой экономики брендов, сетевых предприятий, финансовых деривативов и потребительских кредитов. Экономический сдвиг от индустриального “корейского чуда” к постиндустриальной “корейской волне” наглядно подтверждает этот процесс.

Когда на перенасыщенных брендами и имиджами рынках и публичных аренах конкуренция становится особенно высокой, виртуализация переходит в фазу развития глэм-капитализма [Иванов, 2007]. На смену приходит логика гламура, которая теперь задает стратегии и технологии создания конкурентных преимуществ. С 1930-х гг. гламур был очень специфическим стилем жизни, с 1970-х – эстетической формой (глэм-рок), но сейчас гламур стал рациональностью сверхновой экономики. Глэм-капитализм возникает, когда производители на сверхконкурентном рынке должны очаровывать (по-английски – *to glamour*) потребителей и когда товары и услуги должны быть агрессивно красивыми, чтобы интенсивно привлекать целевые аудитории. Процесс создания стоимости теперь больше связан с трендами, чем с брендами, не только в индустрии моды и шоу-бизнесе, но и в высокотехнологичных отраслях и финансовом секторе.

Гламуроемкие (*glamour-intensive*) продукты обеспечивают темпы роста выше средних по экономике в индустрии роскоши, гостеприимства, моды, красоты и т.п. Логика глэм-капитализма отчетливо проявляется в этих трансиндустриях, каждая из которых объединяет предприятия очень разные по продуктам и технологиям, но одинаковые по методам создания стоимости. Например, производство автомобиля, телефона и кожаной сумки оказываются в одной трансиндустрии, если они – гламуроемкие продукты от Porsche, Vertu, Louis Vuitton. Компании в стремлении создавать тренды и сделаться трендом образуют структуры гламурно-промышленного комплекса (ГПК), соединяющие производителей, работающих в индустрии моды дизайнеров, потребителей-трендоидов. ГПК “размывает” привычные границы между брендами и создает транс-брендовые продукты. ГПК “размывает” границу между фирмой и ее рынком и эксплуатирует не работников, а креативных потребителей.

Логика глэм-капитализма в южнокорейском обществе начала набирать силу в середине 1990-х гг., когда отмечаемая экспертами “беспрецедентная социальная значимость” внешней красоты стала всерьез определять направленность развития консюмеризма, стратегии формирования медийных образов, потребительские стратегии следования моде [Nelson, 2000; Kim, 2003, p. 104]. Риторика гламура, включающая мотивы роскоши, эротики, экзотики, яркости, эффектности, креативности активно используется южнокорейской рекламой в продвижении продуктов как объектов желания, будь то традиционная водка *соджу* в образе аксессуара для продвинутой молодежи или торговые центры в образе туристических мест с “магическим шармом”. Индустрии развлечений, моды, гостеприимства сделали главными в той культурно-экономической экспансии, которая получила название “корейской волны”.

Сделав дизайн и креативность управленческих решений своими приоритетами, крупнейшие южнокорейские компании активно создают ГПК для продвижения таких трансбрендовых продуктов, как коммуникаторы “Samsung–Armani”, “LG–Prada” или автомобиль “Hyundai–Prada”. Сами южнокорейцы отмечают, что в их стране склонность к яркости и эффектности в потреблении, к следованию медийным образам и к созданию трендов проявляется заметнее, чем в Западной Европе и Северной Америке⁵. Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в действенности логики гламура в южнокорейской экономике и культуре начала XXI в. В политике логику гламура представляют политики и активисты нового поколения, сделавшие креативный организационный дизайн и ИКТ основой политических стратегий. В социальной структуре главными эффектами роста глэм-капитализма становятся “размывание” традиционного

⁵ Данный вывод сделан на основе личных наблюдений и бесед автора с участниками российско-корейского семинара, состоявшегося 24 ноября 2011 г. в Университете иностранных языков Ханкук в Сеуле.

среднего слоя и увеличение доли и общественного влияния предпринимателей и профессионалов, чьи доходы, стиль жизни и престижное положение связаны с созданием виртуальных производств и гламурных продуктов.

Обзор тенденций социальных изменений в Южной Корее за последние полстолетия приводит к заключению, что необходимо отчетливо видеть резкие смены траекторий и контрасты между различными фазами трансформации структур южнокорейского общества. Сегодня Россия не может воспользоваться опытом “корейского чуда” 1960–1980-х гг., поскольку главные ресурсы догоняющей модернизации⁶ были исчерпаны Советским Союзом к концу 1950-х гг. Современный опыт Южной Кореи свидетельствует, что о новых траекториях развития нужно вести речь, апеллируя не к исторической индустриализации, и не в терминах соответствующей этой фазе развития концепции модернизации, а учитывая контекст глобализации и виртуализацию с применением соответствующих теоретических моделей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абдурасулова Дж. Республика Корея: промышленная политика в условиях глобализации // *Мировая экономика и международные отношения*. 2009. № 5.
- Александров Ю.Г. *Может ли Россия стать “евроазиатским тигром”*. М., 2007.
- Иванов Д.В. *Виртуализация общества*. СПб., 2000.
- Иванов Д.В. Глэм-капитализм и социальные науки // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2007. Т. X. № 2.
- Коргун И.А. Политика поддержки промышленного экспорта в Республике Корея // *Вестник СПбГУ*. Сер. 5. 2007. Вып. 4.
- Саблин К.С. Новая индустриализация российской экономики в контексте создания институтов развития // *Журнал экономической теории*. 2010. № 4.
- Хан Ёнгу. *История Кореи: новый взгляд*. М., 2010.
- Цветкова Н.Н. Развитие информационно-коммуникационных технологий и афро-азиатские страны // *Восток (Oriens)*. 2012. № 1.
- Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity* / Ed. by M. Featherstone. L.: Sage Publications, 1990.
- Castells M. *The Rise of Network Society*. Oxford: Blackwell, 1996.
- Cha S.-H. Korean Civil Religion and Modernity // *Social Compass*. 2000. Vol. 47. No. 4.
- Cha V.D. South Korea in 2004: Peninsular Flux // *Asian Survey*. 2005. Vol. 45. No. 1.
- Chang P.Y. Unintended Consequences of Repression: Alliance Formation in South Korea’s Democracy Movement (1970–79) // *Social Forces*. 2008. Vol. 87. No. 2.
- Choi H. The Societal Impact of Student Politics in Contemporary South Korea // *Higher Education*. 1991. Vol. 22. No. 2.
- Chung Ch. The New Class and Democratic Social Relations in South Korea // *International Sociology*. 2005. Vol. 20. № 2.
- Eisenstadt S. Multiple Modernities // *Daedalus*. 2000. Vol. 129. No. 1.
- Eisenstadt S. *Patterns of Modernity*. N-Y., 1987.
- Ha S.-K. Housing Poverty and the Role of Urban Governance in Korea // *Environment and Urbanization*. 2004. Vol. 16. No. 1.
- Ha Y.-Ch. Late Industrialization, the State, and Social Changes. The Emergence of Neofamilism in South Korea // *Comparative Political Studies*. 2007. Vol. 40. No. 4.
- Hong D.-S. Social Change and Stratification // *Social Indicators Research*. 2003. Vol. 62/63.
- Kern T. Translating Global Values into National Contexts. The Rise of Environmentalism in South Korea // *International Sociology*. 2010. Vol. 25. No. 6.
- Kim A., E. Park I. Changing Trends of Work in South Korea: The Rapid Growth of Underemployment and Job Insecurity // *Asian Survey*. 2006. Vol. 46. No. 3.
- Kim J., Koh B.C. Electoral Behavior and Social Development in South Korea: An Aggregate Data Analysis of Presidential Elections // *The Journal of Politics*. 1972. Vol. 4. No. 3.
- Kim J.-Y. “Bowling Together” Isn’t a Cure-All: The Relationship between Social Capital and Political Trust in South Korea // *International Political Science Review*. 2005. Vol. 26. No. 2.
- Kim S. Civil Society and Democratization in Korea // *Korea Journal*. 1998. No. 2.

⁶ Дешевая рабочая сила из деревень, сдерживание потребления ради инвестиций в промышленное производство, жесткий государственный контроль над ключевыми предприятиями.

- Kim T. Neo-Confucian Body Techniques: Women's Bodies in Korea's Consumer Society // *Body & Society*. 2003. Vol. 9. No. 2.
- Kim T. The Social Construction of Welfare Control: A Sociological Review on State – Voluntary Sector Links in Korea // *International Sociology*. 2008. Vol. 23. No. 6.
- Koh B.-I. Confucianism in Contemporary Korea // *Confucian Traditions in East Asian Modernity. Moral Education and Economic Culture in Japan and the Four Mini-Dragons*. Tu W.-M. (ed.), Cambridge (MA): Harvard University Press, 1996.
- König M. Religion and the Nation-State in South Korea: A Case of Changing Interpretation of Modernity in a Global Context // *Social Compass*. 2000. Vol. 47. No. 1.
- Koo H. *Korean Workers: The Culture and Politics of Class Formation*. Ithaca (NY): Cornell University Press, 2001.
- Koo H. Middle Classes, Democratization, and Class Formation: The Case of South Korea // *Theory and Society*. 1991. Vol. 20. No. 4.
- Koo H. Modernity in South Korea: An Alternative Narrative // *Thesis Eleven*. 1999. No. 57.
- Lee W.-D., Lee B.-H. Korean Industrial Relations in the Era of Globalization // *Journal of Industrial Relations*. 2003. Vol. 45. No. 4.
- Lee Y.-O., Park H.-W. The Reconfiguration of E-Campaign Practices in Korea: A Case Study of the Presidential Primaries of 2007 // *International Sociology*. 2010. Vol. 25. No. 1.
- Levy M. *Modernization and the Structure of Societies*. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1966.
- Lew S.-Ch., Chang M.-H. Functions and Roles of Nonprofit. Nongovernmental Sector for Korean Social Development: The Affective Linkage-Group // *Korea Journal*. 1998. Vol. 38. No. 4.
- Lie J., Park M. South Korea in 2005: Economic Dynamism, Generational Conflicts, and Social Transformations // *Asian Survey*. 2006. Vol. 46. No. 1.
- Nelson L. *Measured Excess: Status, Gender, and Consumer Nationalism in South Korea*. N.Y.: Columbia University Press, 2000.
- Robertson R. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. L.: Sage Publications, 1992.
- Rostow W. *The Stages of Economic Growth*. N.Y.: Basic Books, 1960.
- Shin E. H., Chin S. K. Social Affinity Among Top Managerial Executives of Large Corporations in Korea // *Sociological Forum*. 1989. Vol. 4. No. 1.
- Shin J.-H. The Limis of Civil Society: Observations on the Korean Debate // *European Journal of Social Theory*. 2000. Vol. 3. No. 2.
- Shin J.-S., Chang H.-J. Economic Reform after Financial Crisis: A Critical Assessment of Institutional Transition and Transition Costs in South Korea // *Review of International Political Economy*. 2005. Vol. 12. No. 3.
- Shorrok T. The Struggle for Democracy in South Korea in the 1980s and the Rise of Anti-Americanism // *Third World Quarterly*. 1986. Vol. 8. No. 4.
- Smith D. Technology, Commodity Chains and Global Inequality: South Korea in the 1990s // *Review of International Political Economy*. 1997. Vol. 4. No. 4.
- Steinberg I., Shin M. Tensions in South Korean Political Parties in Transition: From Entourage to Ideology // *Asian Survey*. 2006. Vol. 46. No. 4.
- Wells K. (ed.) *South Korea's Minjung Movement: The Culture and Politics of Dissidence*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1995.